

## КУЛЬТУРНО-ФИЛОСОФСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ КАК ПРОВОКАЦИЯ ИМПЕРСКОГО КРИЗИСА В РОССИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX вв.\*

*В.К. КАНТОР*

Имперская тема неожиданно, казалось бы, стала актуальной в сегодняшней России. Останавливаться на причинах этого не буду. Хочу только сразу сказать: когда говорят о советской империи, у меня ощущение, что происходит некая подмена понятий, поскольку я для себя выделяю два типа: тип имперский, рожденный европейской культурой, и тип восточной деспотии, которая внешне, формально, вроде бы похожа на империю – много народов... Но если империя строится на идее наднационального блага, надэтнической структуры, то восточная деспотия строится на подавлении всех народов. Сталинский период это, конечно, вариант деспотии и, может быть, только начиная с Хрущева, был элемент возврата к имперскому типу: КПСС – партия всего народа и прочее, плюс ушла националистическая риторика.

Как известно, на ошибках учатся. Лучше, конечно, учиться на ошибках чужих, но и о своих забывать не стоит. В этом плане очень поучительна тема крушения Российской империи конца XIX – начала XX столетий. Она задает некую модель и того, что происходило на наших глазах в 80 – 90-е годы, когда рушилась Советская империя. Как некий парадокс или, точнее, шутку истории, могу напомнить, что два человека с одинаковой фамилией послужили катализаторами слома империи: в одном случае Григорий Распутин, в другом случае Валентин Распутин, который, как мы помним, сказал: пусть Россия отделится, наконец, от всех республик, что означало – от самой себя как империи. Разумеется, не он развалил Советскую империю, как и не Григорий развалил Российскую, но некий знаковый толчок был дан. Недавно была попытка развить идею «либеральной империи». Либеральной империи, естественно, в принципе быть не может. Сущность империи не либеральная, но это не значит, что она тоталитарная. Говорят, что хорошо бы вместо империи у нас было либеральное государство, забывая, что, скажем, Великобритания, которая всегда для русских либеральных мыслителей-идеологов XIX в. была символом демократической правовой структуры, была империей, причем жесткой в своей имперскости, что не мешало ей быть правовым государством.

В России в конце XIX века одним из наиболее влиятельных мыслителей и публицистов был великий писатель Федор Михайлович Достоевский. Очень многие исследователи, писавшие о Достоевском, не раз замечали, что Достоевский как публицист

---

\* Работа подготовлена при финансовой поддержке научного фонда ГУ-ВШЭ, грант 08-01-0021.

не равен Достоевскому-художнику. На этом тезисе строит, скажем, свое исследование М. Бахтин. Очень удачно эту мысль выразил Ф. Степун: «Достоевский был не только художником, но и очень страстным, горячим, на все отзывающимся публицистом, о чем свидетельствуют как издававшиеся им журналы «Время» и «Эпоха», так и его «Дневник писателя», где он говорил своим голосом, от своего лица, не скрываясь за масками своих героев. Казалось бы, поэтому, что в публицистике Достоевского и надо искать его мирозерцание. Но убедительным это рассуждение может показаться только на первый взгляд, если же поглубже вдуматься, то легко обнаруживается его проблематичность. Всякая публицистика как форма творчества не может, как бы талантлив ни был публицист, дышать на той высоте, на которой дышит художественное произведение»<sup>1</sup>. С этим трудно не согласиться, но с одной существенной поправкой. Дело в том, что действие художественных произведений на культуру, на общество никогда не бывает прямым и мгновенным, оно требует для адекватного его понимания весьма большого отстояния во времени. Публицистика же как раз орудие реального воздействия на современников, именно на публицистику наиболее остро и энергично реагирует общество.

Творчество Достоевского это вполне доказывает. Это разные ипостаси образа Достоевского. Если как писатель он поднимал сложные, мощные проблемы, которые актуально работают и сегодня, и для интеллектуального багажа человечества очень важны, то как публицист он был более простодушен и прямолинеен, но зато более влиятелен в общественном мнении. Когда говорят, что царь и царское семейство читали Достоевского, они, конечно, прежде всего, читали «Дневник писателя» и только во вторую очередь романы. И слава Достоевского – это тоже поразительная аберрация... Сейчас мы его воспринимаем прежде всего как художника, а когда-то его воспринимали прежде всего как публициста, как автора «Дневника писателя»: почти священное писание – ваш «Дневник писателя», говорили ему современники. Так что же было в «Дневнике писателя» такое, что повлияло довольно сильно на рубеже веков на ломку имперского сознания? Не было практически ни одной темы, которой бы не коснулся в своем «Дневнике» Достоевский. это судопроизводство, война с Турцией, союз с Бисмарком, еврейский вопрос, Константинополь, петровские реформы, западничество, славянофильство и т. д.

Центральная тема «Дневника писателя» – это тема русского народа и его роли в строении империи. Цитат будет несколько, но без них невозможно. «Может ли кто сказать, что русский народ есть только косная масса? <...> Наша нищая неурядная земля, кроме высшего слоя своего, вся сплошь как один человек. Все восемьдесят миллионов ее

населения представляют собою такое духовное единение, какого, конечно, в Европе нет нигде и не может быть»<sup>2</sup>. Это сразу же вызвало недоумение у всех публицистов, прежде всего либерального толка, – почему же все народы империи как единый русский народ? Скрывшийся под инициалами обозреватель «Вестника Европы» писал: «Автор не однажды ссылается на восемьдесят миллионов русского народа (именно русского, потому что речь идет о свойствах русской народности). Но восемьдесят миллионов <...> составляют цифру населения русской империи, а вовсе не русского народа, владеющего идеалами. <...> Собственно же русского народа полагают только тридцать пять миллионов»<sup>3</sup>.

Империя – всеприемлема, она по идее не знает ксенофобии. Она не может существовать, если она ксенофобична. Сегодняшние бесконечные преступления на почве ксенофобии, убийства, как нынче говорят, «черных», свидетельствуют об отсутствии имперского сознания. Как-то (в 1988 г.) академика Лихачева спросили, что скажет он, как коренной житель Петербурга, об уважении национальных традиций в городе. Лихачев ответил: «В Петербурге жили люди самых различных национальностей. Из нерусских больше всего было немцев, евреев, шведов, эстонцев, французов, англичан. <...> Конкуренции между национальностями в Петербурге не было. Антисемитизм был характерен прежде всего для южных городов России. Представить себе еврейский погром в Петербурге было трудно. <...> Многонациональность города, разнообразие школ с национальными уклонами (существовала эстонская школа, около пяти немецких, еврейская гимназия, было татарское учебное заведение – для детей татар дворников и мелких торговцев); существование французского театра, французского института, возглавлявшегося профессором Луи Рео, – все это способствовало широте петербургской культуры, петербургской терпимости (в том числе и религиозной), разнообразило культурный опыт людей»<sup>4</sup>. Я не знаю, так ли это... Нынешние петербуржцы могут либо опровергнуть классика, либо с ним согласиться. Но все же, кажется, Петербург был имперским городом, городом имперской терпимости, что категорически противоречило принципам сталинской деспотии, абсолютно националистической по своему пафосу, что заметили уже в 30-е годы русские эмигранты (Федотов, Степун, младороссы, сменовеховцы и др.). Поэтому столь упорны были злодейские опустошения бывшей столицы на протяжении советской истории. Достаточно вспомнить чистки гражданской войны, кировский период, война и прочее, и уж после войны, казалось бы, после

<sup>1</sup> Степун Ф.А. Мирозерцание Достоевского // Степун Ф.А. Соч. М.: РОССПЭН, 2000. С. 643.

<sup>2</sup> Достоевский Ф.М. Полн. Собр. соч. в 30 т. Т. 26. Л.: Наука, 1984. С. 131 – 132.

<sup>3</sup> В.В. <В.П. Воронцов>. Литературное обозрение // Вестник Европы. 1880. № 10. С. 818.

<sup>4</sup> Лихачев Д.С. Книга беспокойств. Воспоминания, статьи, беседы. М.: Новости, 1991. С. 318 – 319.

ленинградской блокады, погибло почти все, а Сталин добывает остатки в конце сороковых ленинградским процессом. Почему Петербург был так ненавистен Сталину? Почему так беспощадно изничтожался Петербург? Он был другой совершенно, типологически другой, носитель совершенно иной культуры.

Достоевского называют петербургским писателем, так оно и есть. Но он увидел катастрофизм Петербурга, ибо по сути, как и славянофилы, винил Петра, оторвавшего, как ему казалось, образованное общество от народа. Надо сказать, что у Достоевского, не раз клявшегося именем Пушкина, здесь явный спор с первым поэтом России. У имперского по духу Пушкина, которого Георгий Федотов называл «певцом империи и свободы», мы видим признание всех этносов, проживавших в России:

*Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,  
И назовет меня всяк сущий в ней язык,  
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой  
Тунгус, и друг степей калмык*

А.С. Пушкин. Памятник.

У Достоевского всех этих персонажей как бы и нет, у него есть только русский народ. И он, который клялся именем Пушкина, абсолютно противостоял пушкинской идеологии. Достоевский, возражая либералам, весьма резок и вроде бы даже прав: «Вы тревожитесь, чтобы «старший брат в семье» (великорус) не оскорбил как-нибудь сердца младшего брата (татарина или кавказца). <...> Позвольте, что ж это такое? Русская земля принадлежит русским, *одним* русским, и есть земля русская, и *ни клочка в ней нет татарской земли*. Татары, бывшие мучители земли русской, на этой земле пришлецы. Но, усмирив их, отвоевав у них назад свою землю и завоевав их самих, русские не отомстили татарину за двухвековое мучительство, не унизили его <...> а, напротив, дал ему с собой такое полное гражданское равноправие, которого вы, может быть, не встретите в самых цивилизованных землях столь просвещенного, по-вашему, Запада»<sup>5</sup>. Вроде бы абсолютно имперское благородство... Но империя-то как раз завоевывала чужие земли, и проблема имперская заключалась в том, чтобы, сделав покоренные земли частью России, вместе с тем не объявлять инородцев и иноверцев «пришлецами». В этом контексте высказывание Достоевского приобретает методологически абсолютно антиимперскую направленность. В России много «клочков чужой земли», это-то и надо было понять, эту проблему решать. Иначе как быть с «покоренным Кавказом»? Кто «пришлец» на *этой* земле? А с Польшей, Средней Азией, Финляндией и т.д.? Как быть с Сибирью, завоеванной русскими разбойными казаками-конкистадорами и московскими царями? Да и Малороссия, хотя

Достоевский считал ее частью России, чувствовала себя несвободной и, начиная, по крайней мере, с Мазепы, пыталась обрести *самостийность*. И выдержит ли русский мужик в одиночестве всю тяжесть имперской громады? Мужик, лишь недавно вышедший из рабского состояния, сохранивший всю специфику рабского отношения к миру – от безграничной покорности до бессмысленного бунта.

Между тем русские историки вполне осознанно и отчетливо ставили проблему русской колонизации как основы развития России: «Соединение различных народностей в один народ, помесь различных племенных особенностей, видоизменение народного типа и характера под влиянием известных условий – вопросы первой важности для историка, – писал С.В. Ешевский. – Чистых пород мы мало найдем на сцене истории. Племена, сохранившиеся от исторических примесей, как-то слабеют и вымирают, как вырождаются те аристократические фамилии, которые допускают браки, соединяясь только в известном ограниченном круге. Исследование и сколь возможно точное определение тех этнографических элементов, из которых сложился известный народный тип, разложение этого типа на его составные части дает ключ к уразумению многих темных сторон его истории, объяснит многое, что было до сих пор скрыто от самой настойчивой пытливости. Характер современного француза резко отличается от каждой народности, из соединения которых образовалась французская нация. <...> Каждое финское или монгольское племя, распустившееся, так сказать, в русской народности, поглощенное ею, представляет приобретение для всей великой семьи народов европейских, которым вверен Провидением двойной светоч – христианства и образования, и которым предназначено идти во главе развития человечества. Принимая в себя чуждые племена, претворяя их в свою плоть и кровь, русское племя клало на них неизгладимую печать европеизма, открывало для них возможность участия в историческом движении народов европейских»<sup>6</sup>. Как видим, либеральный историк здесь оказывается разумным защитником имперского принципа всеприемлемости.

Уже гораздо после Октябрьской революции один из интереснейших публицистов русского зарубежья Георгий Андреевич Мейер так оценивал проблему русского народа и нерусских инородцев внутри Империи: «Наша Реакция и Революция оказались друг другу сродни. Деятельность славянофилов, по существу своему, была революционной, ибо она ниспровергала освященные временем и традициями основы имперской жизни. <...> Она хотела превратить инородцев, иноплеменников из подданных Российского Императора в

<sup>5</sup> Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. В 30 т. Т. 23. С. 127.

<sup>6</sup> Ешевский С.В. Русская колонизация северо-восточного края // Вестник Европы. 1866. Т. 1. Март. С. 215 – 217.

*подданных русского народа*. И этим, при внешнем монархизме славянофилов, Реакция в действительности извращала самую идею монархии, а также и идею Всероссийской Империи»<sup>7</sup>. Этот – имперский – ориентир в публицистике писателя был утерян.

А это разница принципиальная. И в этом смысле ломалась идея российской империи. Соответственно, нужно учесть еще, что высказывания Достоевского о русском народе падают на его понимание православия, поскольку Русь для него хранительница истинной христианской веры. Но именно потому, что именно Русь – хранительница истинной веры, эта вера оказывалась тем, что называют племенной религией, и все иноплеменники как бы выпадали. «Русский народ есть православие, кто не понимает православия, тот никогда ничего не поймет в народе, не может и любить русского народа...»<sup>8</sup>. Но здесь как раз некая абберрация очевидная у Достоевского, поскольку, я повторяю, теряется идея христианской толерантности и всеприемлемости, не случайно христианство возникает в Римской империи и, в конечном счете, становится идеей, идеологией Римской империи – монорелигией многоплеменной империи, она и дала возможность держаться и связать в какой-то момент империю.

У Достоевского же звучит весьма настойчивое требование о необходимости призвать в советники к высшей власти простых русских мужиков. И тогда – обращался писатель к правительству – все проблемы-де решатся сами собой, поскольку народ принесет подлинную «Христову истину»: «Да, нашему народу можно оказать доверие, ибо он достоин его. Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду, и мы все, в первый раз, может быть, услышим настоящую правду. И не нужно никаких великих подъемов и сборов; народ можно спросить по местам, по уездам, по хижинам. Ибо народ наш, и по местам сидя, скажет точь-в-точь всё то же, что сказал бы и весь вкупе, ибо он един. И разъединенный един и сообща един, ибо дух его един»<sup>9</sup>.

Народ наш может быть вполне достоин доверия, ибо это царевы дети, дети заправские, а царь их отец... и т.д. Об этом – практически мистическом - взаимодействии и писал Достоевский как о реальном факте общественно-социальной жизни уже в постпетровскую эпоху: «Народ наш, – такой народ, как наш, – может быть вполне удостоен доверия. Ибо кто же его не видал около царя, близ царя, у царя? Это дети царевы, дети заправские, настоящие, родные, а царь их отец. Разве это у нас только слово, только звук, только наименование, что «царь им отец»? Кто думает так, тот ничего не

<sup>7</sup> Мейер Г. Славянофильство и революция // Посев. 2005. № 12. С. 12.

<sup>8</sup> Достоевский Ф.М. Полн. Собр. соч. В 30 т. Т. 27. С. 64.

<sup>9</sup> Там же. С. 21.

понимает в России! Нет, тут идея, глубокая и оригинальнейшая, тут организм, живой и могучий, организм народа, слиянного с своим царем воедино»<sup>10</sup>.

Это упрощение социальной жизни не могло не привести к катастрофическим последствиям. И вот, наконец, в результате, как мы понимаем, приходит старец из народа – Григорий Распутин, которого поднимает с самых низов некий фатум. Его приняли как представителя народа император и, прежде всего, императрица. Интересно, почему считала императрица Александра Федоровна, что крестьянство на ее стороне? Она верила не только в Распутина, но и во внутреннее единство дома Романовых и народа. Английский посол Джордж Бьюкенен вспоминал: «Одной из причин, почему императрица думала до последней минуты, что армия и крестьянство на ее стороне и что она может рассчитывать на их поддержку было то, что Протопопов<sup>11</sup> (министр внутренних дел. – В.К.) распорядился о присылке ей вымышленных телеграмм со всех концов империи, подписанных фиктивными лицами заверявших ее в их любви и преданности»<sup>12</sup>.

Начиная с Александра III, правительство во многом прислушивалось к проповеди Достоевского. Влияние его славянофильски ориентированных идей стало определяющим. Но не просто славянофильских, а антиевропейских и националистических. Рождалось сентиментальное отношение царской семьи и правительственных верхов к подлинно православному и смиренному русскому мужику, который готов отдать жизнь за царя и отечество. Это лубочное мировосприятие совсем не походило на трагическое мироощущение Достоевского-художника, однако, во многом было подготовлено его «Дневником писателя». Царская семья готова была к принятию, с одной стороны, старчества, с другой – принятию голоса народа как голоса Божьего. И вот, парадоксальным образом, у трона оказался Григорий Распутин – и «святой старец», и мужик одновременно, так сказать, «старец из народа». Таким макабрическим вывертом история реализовала идеологические построения Достоевского. Напомню уже приводившиеся мной слова Г.П. Федотова: «Два последних императора, ученики и жертвы реакционного славянофильства, игнорируя имперский стиль России, рубили ее под самый корень»<sup>13</sup>. А в результате, по словам Г. Мейера, «стала революционной и деятельность самого правительства, с его лозунгами «обрусения», «России для русских» и

<sup>10</sup> Там же.

<sup>11</sup> Стоит сослаться на оценку этого деятеля у Александра Блока: «Личность и деятельность Протопопова сыграли решающую роль в деле ускорения разрушения царской власти. Распутин накануне своей гибели как бы завещал свое дело Протопопову, и Протопопов исполнил завещание» (*Блок Александр. Последние дни императорской власти.* М.: Захаров, 2005. С. 20).

<sup>12</sup> *Бьюкенен Джордж.* Мемуары дипломата. М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2001. С. 209.

<sup>13</sup> *Федотов Г.П.* Судьба Империй // *Федотов Г.П.* Судьба и грехи России. СПб.: София, 1992. Т. 2. С. 322.

с его попытками вернуться к – правда, фантастическому, как и все идеалы славянофильства, – московскому терему. Этот-то отказ от старой петербургской программы, т.е., в сущности, отказ от Империи, революционизировал Россию не в меньшей, а в большей степени, чем бомба Желябова и «иллюминации» 1905 года»<sup>14</sup>.

Действительно, абсолютно лубочный национализм двух последних царей династии Романовых был совершенно фантастический. Город святого Петра становится Петроградом. Даже в первом варианте детского стихотворения «Крокодил» Корнея Чуковского была такая фраза: «Как ты смеешь тут ходить, по-немецки говорить!». Санкт-Петербург – город, доброжелательный к немцам (вспомним доктора Гааза, которого хоронило все население Питера), начинает немцев ненавидеть. Вряд ли во всем этом можно видеть прямое влияние Достоевского. Но духовная почва, но предпосылки были созданы при его активном участии. И к началу XX столетия универсальность имперско-европейской идеи была на уровне государственном подвергнута сомнению. Город святого Петра (Санкт-Петербург) получил русское имя (Петроград), лишившись при этом своего святого, ибо Петр назвал город не в свою честь, а в честь святого Петра. При этом в результате войны, по соглашению с Англией и Францией, Россия, наконец, должна была получить Константинополь. Национальная мечта-идея, казалось, торжествовала. Вместо Питера возник абсолютно московский терем. Были придуманы для армии шапки-богатырки (которые впоследствии стали «буденовками»), продолжалась активная русификация Польши и Финляндии, идеи национализма приводили и не могли не приводить к возмущениям на национальных окраинах. И так гревшая Достоевского идея о сыновней и религиозной близости народа к царю была опровергнута всенародной ненавистью к последнему Романову. Только тогда общество разглядело опасность религиозного народничества. Особенно внятно это стало после Октября 1917 г. Бердяев так констатировал этот идейный кризис: «Убил русскую монархию Григорий Распутин. Он – духовный виновник революции. Связь царя с Григорием Распутиным мистически прикончила русское самодержавие, она сняла с царя церковное помазание. Царь перестал быть помазанником Божьим после того, как связал судьбу свою с проходимцем=хлыстом, медиумом темных сил. Это было роковым событием не только для русского царства, но и для русской Церкви. Власть Григория Распутина над русской Церковью была самым страшным событием в религиозной жизни русского народа. Так выявилась хлыстовская стихия в русском народном православии. Это была кара за русское религиозное народничество, обоготворявшее языческую народную стихию и оторванное от

---

<sup>14</sup> Мейер Г. Славянофильство и революция. С. 12.



Вселенского Логоса, от Вселенской Церкви»<sup>15</sup>. Выдающийся русский историк античности, академик М.И. Ростовцев, бежавший в 1918 из Советской России, в том же году в одной из своих статей констатировал: «Русские цари утверждали, что за ними миллионы русских. Когда поднялась волна революции, на их стороне не оказалось никого»<sup>16</sup>. Как вспоминает А.Ф. Керенский, если бы царя не взяли под стражу и не отправили в Тобольск, то самосуд озверевшего народа мог произойти на год раньше. Об этом свидетельствует и запись Василия Розанова в 1917 г. Царя Николая еще не убили в подвале купца Ипатьева в Екатеринбурге, а Розанов записывает народные настроения: «Старик лет 60 «и такой серьезный», Новгородской губернии, выразился: «Из бывшего царя надо бы кожу по одному ремню тянуть». Т.е. не сразу сорвать кожу, как индейцы скальп, но надо по-русски вырезывать из его кожи ленточка за ленточкой.

И что ему царь сделал, этому «серьезному мужичку».

Вот и Достоевский...»<sup>17</sup>.

Убийство царя большевиками произошло, оказывается, гуманнее, нежели хотел «подлый народ». Несмотря на усилия Вл. Соловьева и других мыслителей русского религиозного неоренессанса превратить православие в незамкнутую систему, что было бы существенно для современного воспитания народа, это не получилось: против были и церковь, и царская власть. И русские религиозные мыслители с удивлением и ужасом вдруг увидели в большевистскую революцию, что нет «народа-богоносца», что «русский народ вдруг оказался нехристианским»<sup>18</sup>. В романе М. Булгакова «Белая гвардия» один из героев (поручик Виктор Мышлаевский) довольно злобно говорит о «мужичках-богоносцах Достоевского, которые стали на сторону разбойничьих банд, растаскивавших Россию на куски.

Впрочем, западные наблюдатели (но близкие по ситуации к России) вполне понимали, что Бог и царь Державина и Пушкина – это не Бог и царь народа. Вполне резонным выглядит в историческом сегодняшнем контексте соображение польского мыслителя: «Вникая в содержание мужицкой легенды о царе, мы удивляемся спокойствию людей, которые верили в то, что царская Россия покоится на гранитном основании верующего в царя народа. Это заблуждение убедительным своим словом распространял Достоевский, который усматривал революционную заразу только в «бесах» интеллигенции, зараженной теориями Запада. Вся крестьянская ненависть к господам и чиновникам была проникнута надеждой на царя. Этот созданный в мечтах царь –

<sup>15</sup> Бердяев Н.А. Духовные основы русской революции. Опыты 1917-1918 гг. СПб.: РХГИ, 1999. С. 15 – 16..

<sup>16</sup> Ростовцев М.И. Избранные публицистические статьи. 1906 – 1923 годы. М.: РОССПЭН, 2002. С. 53.

<sup>17</sup> Розанов В.В. Апокалипсис нашего времени. М.: Республика, 2000. С. 7.

<sup>18</sup> Булгаков С.Н. На пиру богов. // Булгаков С.Н.: Соч. в 2-х т. Т. 2. М.: Наука, 1993. С. 609.

совершенно иное существо, нежели тот человек, что пребывает в Зимнем дворце. <...> Если для депутации дворянства царь – это первый дворянин государства, то для мужика – это Пугачев в шапке Мономаха»<sup>19</sup>.

У Достоевского не раз являлась мысль, что следствием «высших минут» часто является падение в бездну безумия. Об этом наиболее явственно он выговорил в романе «Идиот», рассуждая об эпилепсии князя Мышкина. Кажется, вдохновенные политические пророчества писателя можно отнести к тем же «высшим минутам». Об этой его аберрации замечательно написал Г. Флоровский: «Трудно для человека удержаться в границах и пределах. И Достоевский не смог и не сумел избежать утопического искушения, и постоянно радостное предчувствие грядущего обновления развертывалось у него в картине Царства Божия *на земле*. Он знал и понимал, что не на земле и не во времени радость человеческая исполнится. Но слишком дороги и близки были для него эти здешние, дольные муки, слишком любил он эту грешную землю»<sup>20</sup>. И здесь он как бы противоречил своим собственным прозрениям, высказанным в поэме Ивана Карамазова о Великом инквизиторе, где тот показывал неосуществимость высших идеалов на земле без злейшей тирании. Но тогда происходит и гибель этих самых идеалов, ради которых принимается деспотическая власть. И именно «ересь утопизма» (С. Франк), «утопическое искушение», как не раз о том писали пореволюционные русские мыслители-эмигранты, и ведет к катастрофе. То, что теоретически строил Достоевский, – систему отношений царя-народа, русского народа и православного царя – это чистая утопия. Мечтавший о величии России писатель оказался невольно тем, кто способствовал разрушению имперского сознания, державшего, как и писал Пушкин, «сущими» – а потому и вместе - все народы Российской Империи. Утопизм хорош на бумаге, но ставший предпосылкой к историческому действию, как правило, оборачивается исторической катастрофой.

<sup>19</sup> Кухажевски Ян. От белого царизма до красного // Польская и русская душа. Варшава: Польский институт международных дел, 2003. С. 368 – 369.

<sup>20</sup> Флоровский Г.В. Блаженство страждущей любви // Флоровский Г.В. Из прошлого русской мысли. М.: Аграф, 1998. С. 73.